

Г.Г. ХАЗАГЕРОВ

САМОРАЗРУШЕНИЕ ТОТАЛИТАРНОЙ РИТОРИКИ: КРИЗИС СИМВОЛИКИ (СОВЕТСКИЙ ОПЫТ)

В статье предпринята попытка рассмотреть стратегии тоталитарной риторики в динамике, продемонстрировав, что они не только не всеисильны, но и несут в себе черты саморазрушения. В центре внимания статьи — судьба символизации бытовых явлений.

Ключевые слова: риторика, тоталитаризм, манипулирование, символ.

Модель тоталитарной риторики впервые была предложена Дж. Оруэллом в его знаменитой утопии «1984» и лишь затем была подхвачена лингвистами, которые переформулировали ее в научных терминах и применили к самым разным дискурсам, как тоталитарным, так и не тоталитарным. В том числе оруэлловский подход был применен и к советской риторике [7]. Все авторы оказались единодушны в понимании феномена «новояза» и во мнении, что тот, «кто называет вещь, владеет ситуацией». Однако в динамике манипулятивная модель тоталитарной риторики обычно не описывается. Между тем такое описание показало бы, как манипулирование, не встречая внешних ограничений, заходит в тупик и как тоталитарная пропаганда начинает работать сама против себя. Такая демонстрация была бы интересна из соображений не только чисто дидактических, но и практических, так как именно динамика тоталитарной риторики хорошо выявляет ее пружины и дает материал как для ее профилактики, так и для анализа «продуктов полураспада» тоталитарного сознания. В этом отношении показательным является советский опыт, так как, в отличие от геббельсовской, советская пропаганда была предоставлена сама себе и до самого конца советской власти не встречала внешних помех.

Хазагеров Георгий Георгиевич — доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Южного федерального университета.
Адрес: 344006, Ростов-на-Дону, ул. Чехова, 13, кв. 16.
Электронная почта: khazagerov@gmail.com **Сайт:** khazagerov.com

Конечно, на дезавуирование советской риторики оказывали влияние всевозможные факторы, но это не должно заслонять от нас дисфункциональность тоталитарной риторики, которая была заложена в ней с самого начала и вполне проявилась, когда пропаганда не смогла отвечать новым вызовам и с тупостью машины продолжала воспроизводить неработающие схемы. Сама по себе неразворотливость тоталитарной риторики уже должна была бы стать предметом специального культурологического анализа. Цель настоящей статьи — продемонстрировать механизмы саморазрушения одной из главных сторон тоталитарной риторики — мира символов.

Символ и пансимволизм

Манипуляция, в отличие от убеждения, есть скрытое речевое воздействие. Задача манипулятора — поставить между объектом манипулирования и реальным миром языковой фильтр так, чтобы блокировать языковую рефлексию. В тоталитарной риторике этот фильтр носит глобальный характер, превращается в целый язык, а языковая рефлексия блокируется всеми возможными способами. Следует отметить, что, уделяя пропаганде огромное внимание, вожди тоталитарных государств сами чуждаются языковой рефлексии, ощущая себя скорее колдунами, чем фокусниками. Чрезвычайно любопытна в этом отношении так называемая ленинская теория агитации и пропаганды, кодифицированная в «Кратком курсе ВКП(б)» [5] и в дальнейшем развитая в многочисленных брошюрах и монографиях, посвященных мастерству лектора-пропагандиста [12]. В этих брошюрах мы не найдем ни слова о тех приемах, которые на самом деле лежали в основе пропаганды и принесли вначале успех, а затем поражение. Советская пропаганда была частью советского мифа, а не технической надстройкой над мифом. В этом смысле она действовала вслепую, интуитивно, и настоящий мониторинг ситуации был абсолютно недостижим для вождей, тративших на пропаганду колоссальные средства.

В деле построения языкового фильтра, максимально недоступного для критического анализа, первостепенную роль играют символизация материальных предметов, перерастающая в пансимволизм, и идиоматизация языка. В настоящей статье наше внимание сосредоточено на символе.

Связь символа с формированием картины мира давно и прочно стала общим местом. Однако что такое символ? Феномен символа трактуют по-разному. Наиболее релевантным для постижения сущности политического символа в тоталитарном мифе представляется такое понимание символа, которое восходит к осмыслению этого явления в Византии в связи с полемикой защитников икон с иконоборцами. Эта трактовка идет от Псевдо-Дионисия [3], создателя теории символического богословия. Именно у защитников икон мы видим

обоснование символа как знака, который нельзя рассматривать в качестве чисто условного, произвольного. Икона есть нечто большее, чем изображение святого, она сама сопричастна святости. Обращение к наследию средних веков вообще неизбежно при анализе тоталитарной риторики, так как манипулирование античных времен основывалось на принципиально других приемах, что хорошо заметно у софистов, особенно у Горгия. Неслучайно античные списки тропов не включали символа, а аллегии, игравшей беспрецедентную роль в средневековом мышлении, у Квинтилиана посвящено всего несколько строк.

Пытаясь перевести восходящие к Псевдо-Дионисию представления о символе на язык семиотики, я предложил в свое время трактовку символа как одновременной реализации метафорической и метонимической стратегии [17]. Такая реализация дает эффект самодостаточности символа и обнаруживает его принципиальное сходство с аксиомой. Ее я и буду держать.

Когда смерть изображается в виде скелета с косою, то образ косы в этой эмблеме метафоричен по своей природе, то есть основан на отношении подобия, образ же скелета в саване прежде всего метонимичен, представления о скелете и саване входят в ситуацию смерти. В целом образ символичен, и это делает его особенно страшным и убедительным. Задействованными оказываются все возможные ассоциации, и по сходству, и по смежности, и тем самым обе оси языка — ось селекции и ось комбинации, как они описаны Романом Якобсоном [18]. В целом это создает ощущение бесконечной смысловой перспективы, неисчерпаемой глубины символа. Если природа простой гетерогенной метафоры рациональна, то, становясь гомогенным, уподобление делается чем-то большим, чем произвольно выбранное сравнение. Оно апеллирует уже не к разуму, а к интуиции, прокладывая путь вере. Среди типов метафор наиболее удобна для отправления указанной функции так называемая когнитивная метафора (по Н.Д. Арутюновой), о которой В.Н. Телия пишет: «Когнитивная метафора уподобляет гетерогенное и отождествляет подобное, чтобы синтезировать новое понятие» [16, с. 7].

Политическая символика становится настоящим символом постольку, поскольку она является частью реальности. Метафорическая составляющая символа произвольна: все можно уподобить всему, и можно придумывать какие угодно значки для чего угодно. Но метонимическая составляющая требует обращенности к реальности, а эта обращенность имеет не только объективный, но и субъективный компонент. Значение святыни — производное от чувств ее почитателей (см. выражение: «намоленная икона»).

Что же такое символизация действительности как риторическая стратегия тоталитарной риторики?

Явления действительности — гидроэлектростанция, канал, доменная печь — не нуждаются в объективации, так как они реально существуют в мире. Но чтобы превратиться в символ, они должны быть, во-первых, выделены из океана бытия, как бы вознесены над ним (метонимия), и, во-вторых, — наделены метафорическим смыслом, то есть иметь не только бытовую, но и иносказательную природу. Так, выплавка стали не только иллюстрировала индустриализацию, но и символизировала переплавку старого быта, в том числе и «переплавку человеческого материала»¹. Сама сталь символизировала твердость советского человека. При этом образ доменной печи — один из главных в советской геральдике (он есть в гербах многих городов), восходит и к средневековой алхимической символике [19]. Если вернуться к образу смерти, то наличие печи в реальности сопоставимо с саваном, а метафора переплавки — с косой, метафорой срезания.

«Весь мир полон символов, и каждое явление имеет двойной смысл», — писал о средневековом восприятии жизни академик Д.С. Лихачев [8, с. 147]. К такому восприятию подталкивала и советская символизация материального мира.

Советские люди были хорошо знакомы с таким явлением, как идеологизация определенных профессий или артефактов. Им было понятно, почему из всех рабочих профессий художники и журналисты облюбовали профессию сталевара и монтажника. Никого также не удивляло, что слова с семой «электричество» настойчиво иллюстрируются в толковых словарях примерами из сельской жизни. Обратимся к одному из самых поздних словарей советского периода.

В четырехтомном «Словаре русского языка» под редакцией А.П. Евгеньевой, выпущенном в 1988 г. Академией наук СССР и рекомендованном сегодняшним студентам-филологам в качестве нормативного толкового словаря [15], толкуется 112 слов с корнем «электр-», при этом специальную пометку «физ.» («физика») имеют только четыре слова. Любопытно, что среди приводимых в словаре нет таких современных слов, как «электрогитара» или «электрошок». В то же время встречаются такие устаревшие слова (без указания на их устаревание), как *электродоение*, *электродоильный*, *электродойка*. В однотомном толковом словаре Ожегова [13], где приводятся 37 слов с интересующим нас корнем, упоминается также *электропуг*.

¹ Слово «перековка» встречается уже у Маяковского: «Товарищи, и в быту необходимо взяться за перековку человеческого материала». Есть свидетельства, что символ зародился в связи с использованием принудительного труда при строительстве Беломоро-Балтийского канала [6].

Применение электричества именно в сельском хозяйстве, в колхозе отражено и в иллюстративном материале словаря А.П. Евгеньевой, где примеры взяты из советской классики:

Провели в коровник и электрическую сеть, но тока пока не было. (Лаптев «Заря»).

Колхозные дела шли понемногу на лад: электрифицировали фермы, запасались удобрениями, выполняли план лесозаготовок. (Николаева «Жатва»).

[Василий] видел — и горы зерна, и новенький ладный и светлый ток посреди колхозных полей. Это был не просто ток, а электрифицированный. (Николаева «Жатва»²) [15, с. 755–757].

В словаре С.И. Ожегова, где иллюстрациями служат микроконтексты, слово «электрик» поясняется словосочетанием «колхозные электрики» [13, с. 839].

Разгадка подобных пристрастий очевидна. Подача электричества именно в сельские районы демонстрировала идею механизации сельских работ и преодоления различий между городом и деревней. Ток символизировал энергию, которая, поступая из опозтизированных электростанций, пронизывает всю страну, как нервная система, несущая командный импульс.

Советская идеологизация действительности может быть охарактеризована как пансимволизм. «Поздний сталинизм в его культурной каждодневности (своеобразный “сталинский ампир”) был уже не то что символичен, а символичен снизу доверху, сплошь, насквозь... И не отдельные мифы определяли “сталинский ампир”, а символомания, всеохватывающая и всепроникающая», — пишет М. Новикова в статье «Символы», опубликованной в «Новом мире» [11].

Масштабы символизации были в самом деле беспрецедентны, достигая уровня архаичного сознания или сознания больного, страдающего так называемым гиперсимволизмом. Примером последнего может служить тотальная подозрительность. «Бдительность» была не только самостоятельной идеологической ценностью, но и естественной спутницей гиперсимволизации. Это проявилось, в частности, в истолковании рисунков на школьных тетрадях как зашифрованных призывов: «Долой ВКП(б)!»³ Когда все идейно значимо, невольно приглядишься и к рисунку.

² Последний пример приведен, несмотря на явную стилистическую небрежность, допущенную писательницей Галиной Николаевой.

³ А. Пыльцын в своих мемуарах пишет: «Должен честно сказать, что тогдашние аресты и поиски “врагов народа” заражали многих, в том числе и нас, младших школьников (помню, например, как мы, ученики 2–3-го класса по подсказке некоторых учителей искали на обложках своих

Символ делал свое дело, высвобождая колоссальную людскую энергию, не подотчетную рациональной критике. Это и есть мифологизация сознания. Рациональная критика символа блокировалась не только искусственно, но и самой его природой. Ведь, в сущности, любая рациональная критика символа не вполне корректна. С рациональной, оторванной от узуса, от обычая, точки зрения любое знамя можно назвать тряпкой на палке, а икону — доской. На этом построен литературный прием *остранения*, которым широко пользовался Лев Толстой, описывая как бы со стороны войну, богослужение, театральное действие. Однако сама по себе рациональная критика, игнорирующая вовлеченного в символическое действие человека, не способна отвлечь его от этого действия. Люди не перестают слушать оперу, как бы убедительно ни описывали им условность этого жанра, бегут со знаменем под пулями — несмотря на отрезвляющие соображения Андрея Болконского, продолжают посещать богослужения и т. д. А если и перестают, то лишь тогда, когда получают к тому дополнительные основания, которые мы и рассмотрим ниже в связи с темой распада советской символосферы.

Сейчас подчеркнем, что применительно к тоталитарной риторике следует говорить не о воздействии определенного символа на массовое или индивидуальное сознание, как это бывает, скажем, в случае успешной рекламы, а о воздействии на сознание именно пансимволизма, то есть такого символизма, который пронизывает *все* сферы материальной жизни и тем самым размывает границу между объективным миром и его аллегорической интерпретацией. Размывается граница между реальностью и грезой, что считается признаком мифологического мышления в работах Сержа Московичи [10].

Пути демифологизации

Вся сила символа состоит в том, что метафорика в нем дважды подкреплена реальностью: символу соответствуют реальный артефакт (см. «животворящий крест») и психическая реальность — переживания верующих, явленные в ритуале (уже упоминавшееся сравнение «намоленные иконы»). Однако именно погруженность в реальность и есть ахиллесова пята символа. Все пути демифологизации советских символов связаны как раз с разрушающим влиянием реальности. Из-за этого разрушения возникает рассогласованность метафорического и метонимического компонентов. Здесь можно выделить различные случаи. Во-первых, метонимический компонент со временем оказывается нерелевантным. Во-вторых, метафорический компонент может трансформироваться.

школьных тетрадей в васнецовских стилизованных рисунках по былинной тематике якобы замаскированные надписи, наподобие “Долой ВКП(б)”, и если не находили, то значит, “плохо искали”)» [14].

Нерелевантность метонимического компонента возникает по разным причинам. Первая удивительно банальна: техника устаревает морально, и техногенные символы утрачивают метонимическую составляющую. Метафора как бы дискредитируется.

Обратимся к судьбе такого символа, как паровоз. Для 20-х и 30-х годов это был чрезвычайно удачный символ, эксплуатируемый и в кино, и в литературе, и в живописи. Паровоз — олицетворение новой эпохи — пара и электричества. Паровоз ведет за собой состав по длинному и притом железному пути. Известно, что революция — локомотив истории, а путь — очень важный советский символ, фигурировавший в различных названиях [9, с. 497–498].

Наш паровоз, вперед лети,
В коммуне остановка...

Кроме того, паровоз — это мини завод, а машинист и особенно перемазанный углем кочегар — пролетарии. С паровозом связан революционный образ бронепоезда (например, уже в 1922 г. выходит повесть «Бронепоезд 14–69» Вс. Иванова) и вообще образ железа, брони, устремленной вперед стальной крепости.

Мы мирные люди,
Но наш бронепоезд
Стоит на запасном пути.

Паровоз ведет агитпоезда, и это целая стихия, в которой мистически сливаются объект и субъект агитации. Агитпоезд — риторический перформанс. Он агитирует уже тем, что говорит: смотрите, мы вас агитируем.

Паровоз с его сочным, сладостным гудком, с перестуком колес и хвостом дыма — символ романтический, зовущий. Путешествие на поезде в далекий край покорять целину и строить новые города — многократно воспетая советскими художниками романтика дальних дорог.

И вот данное техническое устройство устаревает, его использование становится невыгодным. Сам «железный нарком» Л.М. Каганович сначала сокрушался и говорил, что лично он стоит за паровоз. Затем начинают активно пропагандировать электровоз как современную технику⁴, но мифологического смысла последний уже не обретает. Сегодня паровоз снова пользуется народной любовью, но в нем видится символ не нового, а старого быта.

⁴ В одном из номеров журнала «Крестьянка» за 1959 г. паровоз назван «ненасытным чудовищем», в статье сообщается, что его КПД — 5–6%, а электровоза — 60%.

Утрата пропагандой паровоза невосполнима, тем более что этот плакатный символ удачно вписывался в литературную, прежде всего поэтическую традицию. Борис Пастернак с его циклом «На ранних поездах» не похож на автора агиток. Образ железной дороги в русской культуре второй половины XX века был значим, это отмечают историки [2].

Конфликты идеологического и символического начал бывают очень серьезны и возникают даже в военном деле. Таково, например, идеологическое пристрастие к овейной революционной славы коннице, которое могло стоить советскому народу очень многих жертв, если вообще не поражения в войне.

Религиозные символы были застрахованы от такой эрозии тем, что основывались на простых и вечных вещах, таких как посев и всходы. Устаревание плуга не могло отразиться на образе пахаря, который в течение тысячелетий успешно функционирует в культуре, за ним стоит идея вечности. Революционные же символы с самого начала постулировались как авангардные и прогрессистские. Паровоз был «стальным конем», он противопоставлялся отсталым видам транспорта, и вот теперь из него неожиданно выветривается прогрессивное начало. Метонимия теряет свою прототипичность: привычный и емкий символ уже не может рассматриваться как типичный пример передовой техники.

Еще банальнее выглядит вторая причина утраты метонимией своей релевантности — физическое устаревание техники. Оценить значение этого фактора может только советский человек, у которого в памяти отпечатались пейзажи брежневской эпохи с техникой, ржавеющей на заброшенных стройплощадках «долгостроя». Ни одна религия не допустила бы такого кощунственного обращения со своими символами. Сакрализация производства и советского быта приводила к тому, что сакральное то и дело обращалось в профанное, словно сама жизнь занялась систематическим развенчанием советского пансимволизма. Так происходил повседневный и повсеместный процесс деидеологизации советского быта.

Деидеологизация могла касаться и персоналий. И в этом можно найти аналог морального устаревания, связанный уже не с прогрессом науки и техники, но с прогрессом образования в СССР. Вместе с революционным конем устаревал и революционный всадник.

В брежневскую эпоху неожиданно возникла целая волна анекдотов про Чапаева. Поражает массовая реакция на давно неактуальные события и даже на давно неактуальную историю этих событий⁵.

⁵ Героем анекдотов был не столько исторический В.И. Чапаев, сколько персонаж романа Д.А. Фурманова и герой фильма 1934 г., восстановленного в 1963 г.

Новым был не персонаж, а оценка его простонародности, оценка простонародности вообще. Герой анекдотов «о Василии Ивановиче» предстает гротескно некультурным персонажем, лишенным санитарно-гигиенических навыков, невежественным, несообразительным⁶. Так, на вопрос, почему он не поступил в военную академию, Василий Иванович отвечает: «Кал сдал, мочу сдал, а на математике засыпался». Перед нами не юмор частушек, не амбивалентный юмор крестьянина, а юмор человека, окончившего десятилетку или институт, насмешка с позиции превосходства. При этом в анекдотах нет злободневной оппозиционности, как это было в частушках о коллективизации или пятилетних планах.

Советская символика не была построена на вечном, подобно символике религиозной, но была крепко связана с прогрессом, а советские «святые» были революционерами и к тому же выходцами из простого народа, они не могли импонировать новым поколениям. Именно качества, составляющие их советскую «святость», вызывали в лучшем случае недоумение. Символика ветшала, вызывала усмешки.

Другой путь разрушения метонимического компонента в символе — это утрата веры в символы, в результате которой вещь или ритуал теряют свою сакральность, что, в свою очередь, приводит к угасанию метафорического компонента. В результате демифологизации символы превращаются в предметы. Это вполне соответствует пути античных метаморфоз, как он описан А.Ф. Лосевым в учебнике по античной литературе [1, с. 24–25]. Напоминает это и вырубку священных дубов, и легендарное сплавление деревянных богов по Днепру. В метаморфозе, в топонимической легенде, в музейном экспонате метафора отходит в прошлое, остается вещь. Само время остраивает символ. Остранение, как оно описано Виктором Шкловским на материале творчества Льва Толстого, великого отрицателя всяких условностей, состоит в наивном взгляде на вещь, игнорирующем ее символическую природу. В случае советской символики символическая природа в вещи как бы выцветала.

Конечно, количество верующих в коммунистический проект, как и качество их веры, зависело от уровня жизни и соответствия этой жизни прогнозам. Но был здесь и чисто семиотический компонент. Неповоротливая советская пропаганда насильно заставляла все население

⁶ См. характеристику персонажа из «Краткой литературной энциклопедии»: «Образ литературного героя Гражданской войны Чапаева, нарисованный во всей его сложности, предстал как широкое обобщение противоречивых и в то же время подлинно героических свойств, присущих народным массам. Революция создала условия для раскрытия лучших сторон личности Чапаева, направила его развитие к “разумному” и “светлому”» [4, с. 164].

страны участвовать в ритуале, не меняя в нем ничего, не считаясь ни со скептиками, ни с новой реальностью. Существовала народная формула, отражающая необходимость участвовать в идеологически значимых действиях: «в добровольно-принудительном порядке». Такими были походы на собрания, субботники, первомайские и ноябрьские демонстрации и многие другие мелкие и крупные ритуалы. В результате верующие и скептики шествовали рядом в одной колонне, неся на оструганных палках портреты «вождей», причем и среди организаторов подобных мероприятий также находились и даже преобладали скептики. Если проводить параллель с отправлением религиозных обрядов, это выглядело бы так, как если бы священник, подмигнув мирянину, сказал: «Ну, ты приходи завтра в храм, так сказать, помолимся, а то мне отвечать за тебя перед архиереем, да и у тебя неприятности будут». Именно контроль, замкнутость всех связей на начальстве и попытка тотального распространения советской веры были здесь дисфункциональны.

Другая трещина в советской символосфере связана с метаморфозой самой метафоры, что можно было бы назвать «похищением символа». Это путь демифологизации, который А.Ф. Лосев иллюстрировал судьбой мифа о Прометее. Замечательно, что одним из символов, подвергшихся демифологизации этого рода, был именно огонь.

Костер, символ революционного горения и жертвенности, сделался символом шестидесятников с их нескончаемым походом и песнями бардов у костра. Стихия огня — стихия революции, ленинская газета называлась «Искра». Каждый школьник знал, что «из искры возгорится пламя» и что «мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем». Пионерские костры — важная часть советского ритуала, костер в виде трех язычков пламени был изображен на пионерском значке. Советский студент знал и о симпатиях Маркса и Энгельса к самому титану Прометею.

И вот костер стал иным символом — походов и авторской песни, которая отнюдь не прославляла достижения советской власти. Этот поход, по первоначальной задумке революционно-романтический, оказался вдруг исходом советской интеллигенции из советского пространства, бегством к костру от парткома и месткома. Романтика, задуманная как отказ от «мещанского уюта», то есть от личных устремлений, в пользу общественного служения, готовность терпеть лишения, стала символом ухода от этого же служения, толкуемого в советском смысле.

Любопытно, что при этом и костер, и отказ от мещанского уюта сохранялись как положительные символы. Оказалось, что символ может быть похищен из символосферы, может перейти в другие, чужие, «чуждые» в советской терминологии, руки, стать частью другой

символосферы. Это похоже на тот случай, когда один оратор подбегает не совсем удачный аргумент, а его оппонент использует его в собственных целях — применяет так называемый антистретон («обращение аргумента противника в свою пользу»). Особенно это похоже на такой антистретон, когда оппонент подхватывает чужую метафору и толкует ее по-своему.

Плохую шутку сыграло с пропагандой и электричеством. Когда оно светило в «лампе Ильича» или прожекторе (излюбленный образ), все было прекрасно. Метафорическая сила электричества приносила свои идеологические дивиденды. Но когда начались альянсы электричества с информацией (радио с его «враждебными голосами», магнитофон с песнями Высоцкого и Галича, компьютер, наконец), все кардинально изменилось. Получалось, что как энергия электричество было прекрасным символом, но в связи с информацией оно обнаружило свою враждебную сущность. К счастью, слово «электронный» отличается звучанием от слова «электрический». Правда, со временем кибернетику перестали именовать проституткой капитализма. Реже стали повторять предостережение: «Электронная машина, товарищи, не заменит человека!» В переводе на обычный язык оно звучало бы так: «Объективные данные (конечно, необходимые в военных целях) не заменят роли идеолога, кладущего границы применению этих данных». Но идеологическая функция символа электричества уже оказалась дезавуированной. Не улучшали картину и перебои с электричеством и водоснабжением, которые связывались с каналами (еще один погасший символ) и гидростанциями.

Массовое истолкование революционной символики, обращенное против Системы, наблюдалось в 60–70-е годы, когда оно проникало даже в официальное искусство: ставились фильмы революционной тематики с соответствующим «подтекстом» (слово, вошедшее тогда в моду)⁷: царская власть воспринималась как власть советская, борцы против нее вызывали сочувственный вздох.

⁷ Плоские аллегории советского искусства вызывали отторжение у советской интеллигенции, которая находила особенное удовольствие в обнаружении скрытых смыслов. Это были не только поиски политических намеков в духе «эзопова языка» Щедрина, но и понимание сложных произведений современного западного искусства — романов и фильмов — как своеобразных шарад. Позднее это пристрастие деформировалось в охоту за аллюзиями, что отразилось в потоке историко-литературных работ и студенческой моде на «разгадывание» текстов. До сих пор эта мода не соотносилась с чисто советской чувствительностью к скрытым намекам, ее истоки видели во всеобщем интересе к явлениям интертекстуальности. Однако было бы интересным проследить советские рефлексии литературной криптографии.

Но главный тренд в этой части символосферы был связан не с совершением революции, а с переходом из области безлично-героического в область частной жизни, где и мужество получало другую, несоветскую трактовку. В советском сознании появился и укоренился образ героя-одиночки, мужество сделалось индивидуальным мужеством, не имеющим никакого отношения к Партии. Коллективизм трансформировался в образ надежной мужской дружбы, протекающей в стороне от государственного контроля.

Профессия геолога была овеяна романтикой не потому, что он поехал по зову Партии в тайгу, а потому, что он в этой тайге относительно свободен и может проявлять свои индивидуальные качества. Он носит бороду, которая еще недавно была символом крестьянской отсталости. Он одет в свитер грубой вязки, он молчалив и сдержан, в нем можно заметить приметы героя переводной литературы, в первую очередь англо-американской. Посредником между Джеком Лондоном и геологом выступил Александр Грин. Эталон индивидуалистической мужественности в 1950-е годы стал Эрнест Хемингуэй, портреты которого было модно держать дома.

Авторы бардовской песни до сих пор возводят свою генеалогию к песне П. Когана «Бригантина»⁸.

Надоело говорить и спорить
И любить усталые глаза...
В флибустьерском дальнем синем море
Бригантина поднимает паруса...

Что это за усталые глаза? Идет ли речь о «верхних десяти тысячах» и «пресыщенной героине» предреволюционной эпохи? Нет, это потухшие глаза какой-нибудь замотанной общественной работой и трудностями быта комсомолки. Тема пиратского корабля прочно поселилась в песне 60–70-х годов. Так возникали фрондерские символы.

Приватизированными (втянутыми в орбиту приватной жизни и личного начала) оказались не только стихия огня, дух товарищества и мужество. Приватизация коснулась техники, которой очень увлекалась послевоенная городская молодежь. Радиолюбители были предшественниками «компьютерных мальчиков». Пропаганда знала образ народного умельца, смекалистого советского человека, который, подобно герою Лескова, мог подковать блоху. Эту, обобщенно говоря, блоху можно было затем экспонировать на выставке. Цель — прославление советской жизни. Со временем, однако, умелец отбил от

⁸ Этой песней, сочиненной еще в 1937 г., открывается «Антология бардовской песни» (М., 2008).

рук. Недаром слово «умелец» в ироническом значении стало означать «ловкач». Словарь игнорировал это последнее значение:

«УМЕЛЕЦ, -льца, м. Умелый и искусный мастер. Жуков — старая рабочая косточка, потомственный пролетарий, наследник целой династии русских мастеровых. Это настоящий умелец, человек с «золотыми руками» (Гардин. «Воспоминания».)

Как и отец, Андрей немало потрудился для возвышения этого края. Он приваживал во Владимир умельцев, искусных строителей, плотников, кузнецов, чеканщиков, камнетесов (Полторацкий. «Дорога на Суздаль») [15, с. 490].

Любовь к технике так же была предметом борьбы между официально-символической интерпретацией и изменившейся реальностью, как и дружба. То же было и с темой природы, «мичуринского сада», превратившегося в загородные участки, к концу советской власти именовавшиеся в народе фазендами. В официальной культуре поощрялись юннаты — юные натуралисты, — но это движение широко не распространилось. Зато образ дикой природы был похищен с советского Олимпа. Вместо того чтобы ее покорять, к ней стали прибегать как к спасению от советского быта. Лесные тропинки протоптали и некоторые писатели (несколько раз арестованный В.В. Бианки, М.М. Пришвин и др.). Упирая на эпитеты «родной» и «русский», они, можно сказать, уходили все глубже в лес, все дальше от скучной идеологии. В народе перефразировали цитату Мичурина «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача» в «Мы не можем ждать милости от природы, после того, что мы с ней сделали» и «Мы не можем ждать милости от природы, так пусть и она не ждет от нас никакой милости».

В отличие от древних греков, разместивших своих богов на недоступном Олимпе, советская риторика обожествила реальный, текущий быт и этим поставила себя в странное положение. По мере того как менялись жизнь и советский человек, концепты, созданные на базе символов, не только и даже не столько демифологизировались, сколько начинали жить самостоятельно, незапланированно. Они дробились, перегруппировывались, иногда переходили на службу к оппозиции. Кодификация символики через словари, плакат и кино не давала результатов. Жизнь сама ставила помету «устар.» на советских символах. В позднее время символосфера уже не прирастала. Наверное, спутник был последним успешным символом. Над кукурузой, которую Хрущев хотел возвести в ранг символа, народ откровенно смеялся. Но спутники стали запускать другие государства (о том, что в других государствах были гидроэлектростанции, как-то не принято было писать и думать).

Выражаясь метафорически, город-сад советской словесности с годами дичал. Говоря без метафор, можно констатировать, что столь глубоко погруженная в повседневность и столь разветвленная символизация давала непредвиденные побочные эффекты, лавинообразно нараставшие со временем. К тому же подрастали новые поколения, но советская риторика уже не предпринимала маркетинговых изысканий. Идеологи не чувствовали тех новых людей, к которым они обращали свою пропаганду. Аудитория становилась виртуальной. Оратор поверил собственному мифу и обращался к тем «пионерам, детям рабочих», образы которых сам же создал.

Заключение

Тоталитарная риторика не совместима с языковой рефлексией. И это верно в отношении не только ее реципиентов, но и создателей. Творцы тоталитарного мифа не доходили до того ясного понимания принципов тоталитарной пропаганды, которое продемонстрировал Дж. Оруэлл и последовавшие за ним лингвисты. Они сами были в плену мифологического мышления, и пропаганда была частью этого тотального мифа. Во всяком случае, свидетельств такого понимания они не оставили. Миф, который приносил свои идеологические дивиденды, в конце концов, обратился в разрушительную силу. Ситуация вышла не только из-под контроля, но и из поля зрения: продуценты тоталитарного мифа не могли произвести адекватный мониторинг происходящего в семиотической сфере. Тотальность мифа ускорила его гибель. В области символики гибельным оказался именно пансимволизм. Попытке продемонстрировать механизмы саморазрушения пансимволизма и посвящена настоящая статья. Аналогичные процессы происходили и в области идеоматизации тоталитарного языка — именно ее беспрецедентные масштабы завели официальную риторику в тупик. Тоталитарный миф обладал нулевой гибкостью. Он существовал по принципу «или все, или ничего».

Черты тоталитарной риторики, сделавшие ее нефункциональной, являются в то же время ее конституирующими чертами. Это приводит нас к выводу, что успехи тоталитарной риторики в начале пути в принципе не могут быть пролонгированы и длительная фаза ее распада является закономерной. Иной вопрос — каковы продукты этого распада. Для ответа на него требуются специальные исследования. Но уже сейчас нельзя не заметить, что развалины вавилонской башни тоталитаризма легко вписываются в эклектичную картину мира постмодернистского сознания. Дегуманизация тоталитарного сознания, его пафос, направленный против личности и ее целостности, продолжают жить в мире дезавуированных символов и разрушившихся цитат.

ЛИТЕРАТУРА

1. Античная литература / Под ред. А.А. Тахо-Годи. М.: Просвещение, 1986.
2. *Белингтон Дж.* Икона и топор. Опыт истолкования истории русской культуры. М.: Рудомино, 2001.
3. *Бычков В.В.* Образ как категория византийской эстетики // Византийский временник. Т. 34. 1973.
4. *Злыднев В.И.* Фурманов // Краткая литературная энциклопедия. Т. 8. М.: Советская энциклопедия, 1975.
5. История Всероссийской коммунистической партии (большевиков): Краткий курс. М., ОГИЗ — Госполитиздат, 1946. Гл. I.3.
6. *Клейн И.* Модернизация как мобилизация: культура СССР тридцатых годов // Новое литературное обозрение. 2005. № 71.
7. *Лассан Э.* Дискурс власти и инакомыслия в СССР: когнитивно-риторический анализ. Вильнюс: Изд-во Вильнюсского ун-та, 1995.
8. *Лихачев Д.С.* Историческая поэтика русской литературы. СПб.: Алетейя, 1997.
9. *Мокиенко В.М., Никитина Т.Г.* Толковый словарь языка совдепии. СПб.: Фолио-пресс, 1998.
10. *Московичи С.* Век толп. Исторический трактат по психологии масс. М.: Центр психологии и психотерапии, 1998.
11. *Новикова М.* Символы // Новый мир. 1995. № 2. (См. также: [online]. Дата обращения к документу 03.02.2012. URL: <http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1995/2/novik.html>).
12. *Ножин Е.А.* Основы советского ораторского искусства. М.: Знание, 1973.
13. *Ожегов С.И.* Словарь русского языка. М.: Государственное изд-во иностранных и национальных словарей, 1953.
14. *Пыльцын А.В.* Штрафной удар, или Как офицерский штрафбат дошел до Берлина [online]. Дата обращения к документу 08.02.2012. URL: <<http://lib.meta.ua/book/10412>>.
15. Словарь русского языка. В 4-х т. Т. 4 / Под ред. А.П. Евгеньевой. М.: Русский язык, 1988.
16. *Телия В.Н.* Вторичная номинация и ее виды // Языковая номинация: виды наименований. М.: Наука, 1977.
17. *Хазагеров Г.Г.* Убеждающая речь как гомеостаз // Социологический журнал. 2001. № 3.
18. *Якобсон Р.* Два аспекта языка и два типа афатических нарушений // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990.
19. *Spiritus metallorum* — дух металлургов [online]. Дата обращения к документу 03.02.2012. URL: <<http://alex7742.livejournal.com/28176.html>>.